

Николай Крышук

СОХРАНИТЬ В ОБЛАКЕ

ПАПКИ И ФАЙЛЫ



люди и книги
Санкт-Петербург

КНИГА ПЕРВАЯ

ТАК НАЧИНАЮТ...

Гомер из радио

Мне семь лет. Атака неизвестного мне ревмокардита шпротой уложила в постель. Не на неделю. На год. Мама челночничает между кухней, аптекой, магазином, прачечной и мной. У братьев и отца своя жизнь. Из живых в доме только радио.

Оно поддерживает музыкой духовых оркестров, сообщениями о далеких войнах, наших победах в спорте, травестийными разговорами зайчиков, белочек и ежей из «Лесной газеты» Бианки, вечерами – спектаклями, в которых ненатурально смеются, ссорятся и бьют посуду.

Спектакли идут ежедневно. Сколько же им нужно посуды, чтобы бить ее семь дней в неделю? Чемодан? Грузовик?

Вдруг какая-то милая женщина голосом доктора заговорила о гениальном в искусстве. «Вот смотрите, – говорит она, – как скажет талантливый поэт про человека, который упал или прыгнул в пропасть? “И тут же вниз!” А как у Гомера? “Уж был внизу”. Понимаете?»

Я почему-то понимаю. Гомер мне нравится.

Бабушки

Мои бабки жили в далекой украинской деревне. Они были словом. Первой наглядно появилась не одна из них, а бабушка на обложке русских сказок. Она сидела перед окошком с резными ставнями и, облокотившись на подоконник и положив подбородок в ладони, смотрела на меня, то есть улыбалась.

Губы ее были сложены, как не полагалось в детской игре «Губы бантиком не строить». Они были построены маленьким вогнутым бантиком. Бог послал ее в помощь моему нуждавшемуся воображению как подтверждение того, что безукоризненное и безукорное добро существует. Под взглядом этой бабушки я мог съесть даже манную кашу с комками.

Спустя жизнь я увидел такую же улыбку у моей соседки. После инсульта в ее гортани остались только подражающие речи звуки. Зубы она потеряла, рот провалился, она стала радоваться всему, как ребенок погремушкам до появления первых молочных.

Предчувствие истины коснулось меня. Я не художник, я – ребенок. Но художник-то знал, что у натурщицы нет зубов.

Блюдце с водой для переводных картинок

Что было вчера – всегда лучше. Сухой снежок метет по обворованному асфальту. Кажется, это называется «поземка». Подметает. Хотя и не по правилам. Люди только что уехали. Погостили в предыдущем году и уехали. Гостевалось, однако, хорошо. Но именно что гостевалось, не жилось. Оттого, впрочем, и ощущения все такие острые. Когда нет настоящего, очень хорошо вспоминается.

Топлю печку. Фырчат и свистят поленья. Чернеет за окном быстрее, чем может ухватить ум. Зато специально загораются гирлянды. Но это, кажется, уже к цветцу.

* * *

Цвет. Почему-то сразу думается о детстве. Что в детстве цвет? Все что-то неестественное и поэтому потрясающее. Фантики. Переводные картинки. Серпантин. Мандарины сравнил бы с мрачным рассветом. Но тогда еще не было такой легкой фантазии. Знал их только на вкус. Брызги от мандариновой корки были потрескивающей щекоткой в носу. То есть морозом. Что естественно: мандарины – Новый год.

* * *

Чем ближе подступает, тем сильнее накатывает. И прежде всего запахи. Запах лица. Или дождя. Сырой запах смородины. Ананасовый запах весенних веток. Запах рыдания, уткнувшегося в свитер. Запах мороженых яблок в домике няни Пушкина. Запах шпал. Сладкий запах гари, засыпавшей мое окно. Металлический запах земли, оттаивающей от зимы. Запах лезвия. Шкафчика – в котором и пудра, и карандаш, и записки. Темный запах елки (но это, кажется, всем известно). Опомнившийся запах камня на вымытой лестнице.

А как пахнут цветущие липы!.. Если бы нужно было определить детскую мечту, то я сравнил бы ее с запахом цветущей липы: очень душно – и много обещает. А запах простыни – сиротливый, гостиничный, купейный. Только тогда и понимаешь себя самим собой. Как буквально под Новый год. Под новый век. Смешной случай.

Книги

Зелененькие и салатные, бежевые, как божьи коровки; масляные или орехово-шершавые корешки, глянцевого или ворсистые страницы; скрип не дверной, а шкатулочный; пахнут клеем, снегом, острыми приправами, степным бездорожьем; разбег строчек сводит с ума; уютная бесконечность обретенного дома посреди квартиры, дивана, подоконника... Книги детства.

...Так прошла жизнь.

СЕНТЕНЦИИ, РЕПЛИКИ, НАБЛЮДЕНИЯ

* * *

«Во всем ищи связь».

* * *

«Не стоит искать связь между насморком у австралийской косули и падением курса доллара в Пустошке».

* * *

Иногда хочется сказать: человек – тяжелый случай.

* * *

Прочитал в «Записных книжках» Вяземского: «...народ без характера и правительство без уложения, что идет всегда рука в руку, не может надеяться на жизнь. Это какая-то подложная жизнь. Такие государства ходят сгоряча».

* * *

И еще: «При нашем несчастье нас балует какое-то счастье. Провидение смотрит за детьми и за пьяными и за русскими, прибавить должно».

* * *

У Лили в романе: «И Бог есть, и все можно».

* * *

Да. Раньше Бог был вольный художник и в оппозиции к бытующим нравам, теперь – в штатном расписании и на оплате.

АВТОБИОГРАФИЯ ТЕКСТА

Текст говорит...

Редакторы иногда говорят, особенно при встрече с талантливой рукописью неизвестного автора: текст говорит за себя. Это не значит, что им понравилась тема или они оценили глубокомыслие автора (да и что это вообще значит?). Еще говорят: язык хороший. Но это опять же не про то.

Чувство текста появляется мгновенно и почти беспричинно, как любовь. Во всяком случае, до того, как мы способны его объективно оценить или проанализировать. Характер метафоры, например. Где там метонимия, а где синекдоха? Аллегория это или символ? Иронична ли гипербола?

Не знаю про стиховедов, но читатель не бежит к словарю, чтобы справиться, амфибрахий перед

ним или анапест. Ему до этого нет дела. Как в замечательных стихах Иры Моисеевой:

Конечно, не ямб, не хорей,
Не дактиль, не дольник...
А просто сидит соловей.
И свищет, разбойник!

Так, думаю, происходит процесс не только сочинительства, но и читательского восприятия.

Один автор привержен афоризмам, другой отказывается от них. Казалось бы, и что? Очень, очень много.

Синтаксис... Частые тире или точка с запятой, многоточия, обилие кавычек или вообще приверженность цитатам.

А выделение шрифтом слов и фраз!

Преимущественные настроения. Это-то уж определено зависит от поставленной задачи? Не только. Скорее задача формируется психологией автора, а потом свои настроения и свои проблемы он подсовывает героям.

Какие предметы, какие слова выбирает автор и для чего? Для правдивости, для высокого тона, для пародии, для стилизации?

Композиция прямая или с инверсией? То есть как работает время? Его сжатие, растяжение, перевертывание. А пространство? Свет какой в прозе?

Все эти вопросы, повторяю, могут прийти, а могут и не прийти. Позже. Но целостное ощущение текста уже есть.

Так создавал образ текста Мандельштам. Так Корней Чуковский когда-то ввел в сознание читателей канон Ахматовой.

Текст, помимо непосредственных задач рассказчика или поэта, пишет свою автобиографию. Сугу-

бо личное туго переплетено с историей и школой. Как, собственно, и в человеческой судьбе.

Что немаловажно: читатель иногда собственной рукой вносит в эти автобиографии свои поправки.

О пафосе

Русская литература в подавляющем большинстве образцов всегда была литературой пафоса. Но пафос как тайное, порой и для самого автора тайное, внутреннее задание, как нечто, что является импульсом для всякого творчества, и пафос как сознательная установка, прямое выражение чувств, пристрастий и идей – вещи совершенно разные. О втором варианте мне и хочется поговорить.

С восторгом и нехарактерным для него пафосом пишет Набоков в своих лекциях для американских студентов о Чехове. Впрочем, пафос отрицательный был ему как раз очень свойствен и часто рождал характеристики, наполненные педантичной придирчивостью, блистательной язвительностью и столь же блистательной несправедливостью. Главная жертва – Достоевский.

Но в данном случае мы имеем дело с пафосом положительным. И вот оказывается, что он, так же как и отрицательный, мало способствует неторопливому проникновению в тайну личности художника и эстетической проницательности.

Неутомимо цитирует Набоков Корнея Чуковского, оставляя без единого комментария даже его рассуждения о том, что Чехов был натурой жизнеутверждающей, динамической, неистощимо активной, что «он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее», совсем не чувствуя в них советского привкуса. И от себя уже добавляет, что «великая

доброта пронизывает» книги Чехова, которого «обо-жали все читатели – то есть, в сущности, вся Россия».

Пожалуй, даже для составителей сегодняшне-го школьного учебника подобный тон показался бы чрезмерным, а ход мысли и способ обобщения слишком элементарными.

Такое пребывание великого скептика в оболь-стительных сетях пристрастия и любви по-своему трогательно. Однако регулярный выход на универ-ситетскую кафедру, как и сознание своей просвети-тельской, а также патриотической миссии, видимо, не только мобилизуют личность, но и ослабляют в ней контроль самоиронии.

На скорости, которую задает пафос, невозможно разглядеть и стиль. Оценить его, почувствовать дано лишь тем, кто не совсем отвык от чтения по складам.

Боязно даже как-то вступить в полемику по во-просам стиля с Набоковым. Но ведь и у Ахиллеса есть уязвимость. Владимир Владимирович восхищается «выразительными деталями природы» у Че-хова, незаметно для себя попадая в тригоринскую эйфорию, которую от Чехова отделяет по крайней мере театральный занавес. Нравится ему: «...вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса».

Что ж говорить, хорошая деталь и вполне чехов-ская. Немножко отдаёт, правда, ученичеством, как будто Чехов списывал сам у себя. Эпитеты на месте, не случайно попавшиеся, все работают – счастье для заурядного учителя. Набоков и радуется, почти по-стариковски: «Тот, кто жил когда-нибудь в Ялте, знает, насколько точно это описание создает впечатление летнего вечера».

Жил я в Ялте. И знаю, что на юге тона, напри-мер, более густые, пряные, с персидским уже изли-

шеством и шелковым обманом. Значит, Чехов действительно точен, а Набоков прав. Ничто, однако, не свидетельствует о гениальности и волшебства не обещает в этом учительском разборе.

А волшебство есть. Только Набоков в поспешном, заведомом одобрении его не заметил.

Подобные эпитеты были в то время доступны и Потапенко. Удивительно же другое: мягкая мелодика, лишенная императива и указательности, синтаксис, оставляющий место для дыхания и созерцательного покоя. Другой писатель после «такого мягкого и теплого» непременно соблазнился бы придаточным определительным предложением. «Такого» как будто требует «что». Такого мягкого, «что хотелось...» или «что казалось...». Все разрушилось бы, нас бы повели на поводке впечатления, пытаюсь доказать необходимость покоя или подтвердить прекрасность прекрасного. А Чехов отпустил гулять свободно и собачку, и даму, и Гурова, и нас: «...вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса». В середине осталось легкое, едва слышное восклицание: «такого мягкого и теплого». Один из шелестов вечера. Ни к чему не обязывает, но картина стала полнее, и мы оказались внутри нее.

Пафос, как мне представляется, – это голосовая попытка утвердить что-то, а через это «что-то» утвердить себя, свое. Это может относиться не только к идее, но и к чувству, что нередко превращает его в романсовую чувствительность. Пафос может выражать и чисто эстетическую установку: например, вопреки утвердившемуся в литературе языку официоза, подчеркнутая метафоричность, поведенческая раскованность, интеллектуальная рафинированность или же, напротив, демократизм. Таковы в большинстве

своим наши советские «шестидесятники», люди талантливые. Все это требует серьезных усилий, иногда смелости, но не имеет ничего общего с великим усилием художника сообщить читателю весть о мире.

Пафос всегда подразумевает существование некоего противника. У поэта противников нет.

Пафос политика может убеждать и даже гипнотизировать. Исходящий от женщины, он может вызывать тревожное волнение или восторг. Художник не лучше и не хуже и политика и женщины. Он просто занят другим делом.

Лидия Гинзбург в «Записных книжках» говорит о том, что писателя подстерегает соблазн: сверх того, что необходимо сказать о себе и о мире, он хочет еще рассказать о себе и то, что знать никому не нужно, приподымает завесы над тайным, поддаваясь самолюбанию и кокетству. «Беда писателю, если слово его написано не для дела, а для того, чтобы показать свою образованность, или из ряда вон выходящее благородство, или суровую солдатскую прямоу, или изощренность и искушенность в разных тонкостях жизни, или латентный огонь своего сердца. Пушкин – по мнению современников, суетный и тщеславный – был поэтом предельной чистоты. Нет у него слова, написанного *не с той целью*, замутненного контрабандными, непретворенными в поэтическое познание эмоциями».

Это глубокое и очень суровое наблюдение. Если быть предельно честными, то вряд ли найдем мы писателя, который был бы совершенно независим от этого соблазна. И говорит это не столько о чувстве меры и вкуса того или иного автора, не столько даже о его литературном достоинстве, сколько о свойствах самой человеческой природы.

Тут речь уже о психологии поведения, что касается всякого человека, не только художников.

Жизнь крутит каждого из нас просто потому, что оказалась больше нашего замысла. И вот уже хочется в любовные отношения добавить немного пряности, в суждениях быть более твердым, чем позволяет характер и опыт, в публичное дело внести более озабоченности общим, чем этого требует натура, а в дружеских отношениях доверительно открыть сокровеннейшие глубины, которые, по правде сказать, не так и глубоки. То есть во всем стать крупнее себя, интереснее, ответственнее. И это нехорошо.

Говорю не в качестве оценки, а имея в виду исключительно библейское значение слова: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».

Хорошо то, что имеет высший смысл и высшую целесообразность. Смешно было бы требовать, чтобы так вел себя всякий человек, и укорять его за то, что он ведет себя иначе, то есть по-человечески. Но и не помнить об этом нельзя. Потому что представление о высшей гармонии тоже входит в природу человека и дано только ему.

Что же поэт: не помнит, не знает, не справляется? И помнит, и знает, может быть, даже в большей степени знает, чем другие люди, но не всегда справляется.

Некрасов в такой чрезвычайной степени декларирует свою гражданскую боль за народ, что школьники вот уже которое поколение скучают над его стихами и подозревают в неискренности, а поэты поспешно признаются в любви, отчасти по делу, отчасти – чтобы отмежеваться от снобизма Тургенева. При всей погруженности в общемировые проблемы, Блок время от времени все же поглядывает на себя в зеркало, обнаруживая комплекс Нарцисса. Гораздо

в большей степени, впрочем, этим комплексом страдают поэты его круга. Ахматова в последние годы пытается переписать историю поэзии XX века, устраивая свое правильное место в ней. Бабель с сальерианским упорством изобретает лапидарный стиль и тугую метафору, мечтая взойти пешком на Олимп, куда другие взлетают на крыльях.

Вовсе не пытаюсь давать оценки или подрывать репутации. К тому же никому еще не удалось подорвать репутацию гениального художника. Но особенности, скажем так, художественного текста дают нам пример поведения. Эстетическое нарушение высшей целесообразности, к которой стремится текст, свидетельствует о неких нравственных проблемах. Потому что то, что некогда было красотой, для потомков становится правдой.

ИЗ СТАРОЙ КОРЗИНЫ

Жизнь дачная

Дачная жизнь подпевает мне песенку детства, которую я давно забыл. Слова в ней, может быть, уже не те, но разве дело в словах?

Клен, дуб, рябина, посаженные в прошлом году, прижились. Мои подростки. Я обрадовался, как будто было назначено свидание, но прошел год, и кто знает?.. Пришли. Запах нагретой солнцем травы по густоте можно сравнить только с запахом черной смородины. Я ли этого не помню?

Бедные урбанисты. Они уверены, что городской способ существования несравненно лучше «архаического деревенского, подогнанного под биоритмы растений и животных» (закавыченное взял для

верности из словаря). Завсегдатай московских и петербургских салонов поэт Пушкин с ними, я думаю, не согласился бы. Чуть не половина его «Евгения Онегина» посвящена описанию смены времен года.

Вообще стихи ведут себя здесь по-свойски, анапест едва поспевает за облаками, кусты замерли, припоминая цитату.

«На меня нацелилась груша да черемуха». Строка Мандельштама бежит навстречу родительскому климату.

Точнее всего сравнить поселок в эту пору с морем, вернее, с его прибрежной полосой во время солнечного шторма. Цвета все время меняются. Отцвела черемуха – занялась сирень. Тихо осыпается вишня, мерцающая в вечернем воздухе. Исподволь загораются фонарики на яблонях, утром встаешь – по округе плывет тот самый «белых яблонь дым». Коринка, слива, груша... Через неделю-другую зацветет шиповник, потом жасмин. Хорошо хоть ветер. Душно, как в парикмахерской.

Однако рано или поздно это тихое сумасшествие сходит на нет. Тогда наступает время зелени. Она быстро взрослеет и входит в свои права. В лесу на ветках появляются первые паутинки. А сирень в саду скинула цвет, как будто напрудила лужи. Такие перламутровые лужи были на закате в казахстанской степи.

Я открыл для себя, между прочим, что сирень – страшно прожорливое существо. Хороший букет, поставленный в доме, выпивает в сутки не менее чем пол-литра воды. Прав Ломоносов: ничто из ничего не возникает.

Надо бы еще отдельно сказать о птицах, например о соловьях, но мне кажется, что я и без того все время говорю про них.

Так или иначе, лето началось.

Живу я в Стругах Красных, и не рассказать об этих местах было бы неблагородно.

Находится поселок в Псковской области, хотя в древние времена, если верить летописям, числился по Новгородской, а в ранние советские, напротив, по Ленинградской. Но сейчас никто, кажется, не в претензии, и выяснения междоусобных отношений я не жду. Тем более что первые люди появились в этих местах еще в каменном веке. Каменный осколок, напоминающий наконечник копья II–III веков до нашей эры, уже нашли, глиняный кувшин, иранскую монету 613 года. Остальное ищут. Глупо считаться.

В сосновых борах и на берегах озер до сих пор находят курганы с погребениями и остатки поселений. Уже одно перечисление названий вызывает к мирному сосуществованию: Яблонец, Щир, Сковородка, Узьмино, Горушка, Перехожа...

Если где и чтут любовно свою историю, так это в русской провинции. Я уж не говорю о памятниках Великой Отечественной войне: «Скорбящая мать», обелиск в честь освобождения и, конечно, танк «ИС-3» на улице Победы. Но деревянный Успенский собор жив, кирпичные постройки рубежа прошлых веков сохранились, и даже здание железнодорожного вокзала на месте. Бывший при нем буфет, правда, остался только на фотографии. А жаль.

Провинция так живет: что ни место – то памятное. Бывал ли здесь, спросите вы, Александр Невский? А то! Поезжайте в Щир и Княжицы, вам расскажут. Именно при нем строились здесь боевые

струи и сплавливались по рекам Ситня, Курея и Люта в озеро Ильмень и Чудское озеро. При царствовании Петра I строительство лодок приобрело и вообще невиданный размах. Леса корабельные, где еще и строить?

Возьмите любое из славных имен России, список которых до сих пор, кажется, высочайше утверждается. Вот хоть тот же Пушкин. Проездом, но бывал. Нигде как здесь, в деревне Залазы, состоялась его памятная нам всем встреча с Кюхельбекером. О чем имеется соответствующий памятный знак.

Новейшая история дополнит список имен. Живал в Стругах Красных описавший в своем романе встречу Пушкина и Кюхельбекера Юрий Тынянов. В Залазах останавливался композитор Глинка, в Бровск к своему дяде приезжал поэт Александр Блок, в Выборове Маковский написал знаменитую картину «Игра в бабки», а в деревне Лог познакомились Галина Уланова и Татьяна Вечеслова, что примечательно – еще в пятилетнем возрасте.

Знаете ли вы что-нибудь об изобретателе первого в России парашюта? Здесь знают. Потому что, как вы уже догадались, и он бывал здесь. Глеб Евгеньевич Котельников был военным, потом профессиональным актером, но знаменитым стал после изобретения в 1911 году парашюта «РК-1» – русский, Котельникова, модель первая.

Неплохой у меня получился рекламный буклет? Странно, что в местной гостинице останавливаются в основном командировочные. С другой стороны, это, может, и к лучшему. Ничто не нарушает нашей провинциальной тишины.

На кустах начинают обозначаться ягоды, и дрозды посылают первых своих разведчиков.

Прежде чем рассказывать про местную жизнь, еще несколько слов об истории. В XIX веке станция Белая была важнейшим отправным пунктом дров для Петербурга. Но станций с таким названием в России множество, поэтому к ней решено было «привязать» ближайшую железнодорожную станцию. Так появились «Струги–Белая». Ну а в «Красные» их переименовала псковская бронелетучка уже в 1919-м. Не бог весть как изобретательно, но держится до сих пор.

Чувство родины, однако, мало связано с историческими событиями и славными именами, и, я думаю, зря стараются строители новой национальной идеи. Работает только ближайшая память. Так, многие продолжают жить психологически в Советском Союзе. Спрашиваю на базаре: «Почем молодая картошка?» – «Иностранная, – отвечают, – тридцать, азербайджанская – тридцать пять».

С другой стороны, возьмем моего соседа Мишу. В Стругах он женился после войны, но до сих пор не перестает тосковать о своей родине. Родина – это его деревня, что в восемнадцати километрах от Струг. Там все лучше. Вишни, например, не то что здесь, «толстые такие, ах-ти тошенько». Недавно ездил отмечать на родину Николин день. «Как погуляли, Миша?» – «А хорошо! Хотя раньше было горазд веселее, столы стояли вдоль всей деревни». «Горазд» в его словаре не только «гораздо», но и «значительно», и «много», и «очень», и «сильно». «Мы тогда не то чтобы горазд получали».

Я воспринимаю все по-дачному, Миша – по-деревенски. Выскочил тут на крыльцо, как от грохота поезда. Град в зеленой траве – красиво. А Миша

пришел грустный. Посадил капусту, но не успел прикрыть ее колпачками, нарезанными из пластиковых бутылок. Град все и побил.

Люди продолжают хозяйствовать, строить. То там, то здесь вырастают новые крыши. На что живут, никто не объяснит ни про себя, ни про другого. Окружные производства закрылись, дети подрабатывают в городах, пчелы прошлым летом покинули свои ульи, а люди – живут. На днях к одному новоселу на другом конце поселка приезжал специалист из Петербурга. Искал воду для индивидуального колодца. После традиционных ивовых прутьев, которые помню с детства, это была первая моя встреча с научным подходом. Специалист, как доктор со стетоскопом, прослушивал землю при помощи специального аппарата. В одном месте вода нашлась, но очень глубоко, в другом – ближе к поверхности. Первое место он в отчете не указал. «Иначе рабочие будут уговаривать вас копать именно здесь и обещать, что вода там – нарзан. Зря потратитесь. И в том и в другом месте вода может быть хорошей и плохой. Заранее не узнаешь».

Так, в общем, и живем. Примерно так.

АВТОБИОГРАФИЯ ТЕКСТА

Карусель

Вот сообщение известного литературоведа Олега Лекманова: «Нашел в “Литературной газете” от 4 августа 1994 года заметку “Неудача большого писателя”. В ней рассказывается про обсуждение в Центральном доме литераторов фрагментов нового романа-антиутопии Владимира Войновича “Иван

Чонкин – пенсионер”. Действие романа разворачивается в условном 2019 году, во вновь возрожденном Советском Союзе. Читатели указали автору на то, что он излишне сгустил сатирические краски своего произведения. “Все эти грузовики, разъезжающие по дорогам с зондер-командами, уничтожающими иностранные продукты, портреты Сталина на улицах Москвы и провинциальных городов, установление памятника князю Владимиру на месте памятника Дзержинскому... право же, Владимир Николаевич, Вам изменили чувство вкуса и меры”, – с таким упреком, выражая общее настроение собравшихся, обратилась к любимому писателю Алла Гербер. <...> “Володя, скажу честно, – обратился к автору романа он [Б. М. Сарнов], – когда я читал о псевдораспятом мальчике и законе Мити (так! – *Ред.*) Яковлева, мне было не смешно, а противно! Нельзя, дорогой, злоупотреблять терпением читателя, даже «Бесы» рисуют картину посимпатичнее!” Писателя защищал только малоизвестный музыкальный критик Д. Ольшанский, ни к селу ни к городу заявивший, что великому Троцкому новый роман Войновича понравился бы. <...>

В своем ответном слове В. Войнович признал правоту критиков и сообщил, что принял решение уничтожить неудавшееся произведение».

Не в ту же секунду я правильно отреагировал на прочитанное. Прояснение пришло, конечно, не с последней строчкой, где автор обещает уничтожить роман. Подозрение вызвало поименное совпадение реальности и двадцатилетней давности художественного вымысла. К тому же в «Москве 2042» подобные пророчества тоже были в избытке. Да и вечно живой совковый стиль приучил верить в реальность невероятного.

Но как же назвать этот литературоведческий фокус? Хотел сказать «обратное моделирование», но тут же выяснил, что это строго научное определение к словесности отношения не имеет. Его же перевод на чисто русский – реверс-инжиниринг – окончательно отбил охоту заниматься самодеятельностью.

Точного определения так найти и не удалось. Это похоже на ретроспективную фантазию. Жизнь в России движется по кругу, как карусель. От головокращения и частого повторения пейзажа фантазия перестает понимать сама себя. Направленная в будущее, она кормится реалиями прошлого; обратившись к прошлому, легко может перейти в категорию пророчеств. Куда ни кинь, всюду карусель.

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА